

Р. С. Черепанова

ДИСКУРС ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В ПОЗДНЕМ СССР: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

R. S. Cherepanova

DISCOURSE OF PRIVATE LIFE IN THE LATE USSR: STATEMENT OF THE PROBLEM

Статья посвящена диалогу власти и интеллектуалов в позднем СССР о содержании и границах частной жизни советского человека. Принимая тезис о том, что в послевоенном СССР сфера частной жизни непрерывно расширялась, автор преимущественно на архивном материале иллюстрирует, как понималось наполнение этой сферы интеллектуалами и в каком направлении протекала эволюция их представлений. Ключевой тезис статьи заключается в том, что нараставший процесс «приватизации» осуществлялся не столько вопреки позиции официальных советских властей и официальной идеологии, сколько в тесном взаимодействии с ними.

Ключевые слова: частная жизнь, интеллектуалы, дискурс, модернизация интеллигенция, счастье, оттепель, коммунизм, утопия.

The article is devoted to the dialogue between the government and intellectuals in the late USSR about the content and boundaries of private life of the Soviet man. Taking into account a thesis that in the postwar USSR the sphere of private life is constantly expanding the author, using mainly archive material, shows the understanding of the content of this sphere by the intellectuals and in what direction the evolution of their ideas takes place. The key point of the article is the fact that the increasing process of privatization is not so much in defiance of the official Soviet government and the official ideology but in close cooperation with them.

Keywords: private life, the intellectuals, discourse, modernization of the intellectuals, happiness, thaw, communism, utopia.

Принято считать, что в послевоенном СССР сфера частной жизни (понимаемой как пространство жизни и деятельности индивида, которую он сам считает сферой своего личного выбора, и которую общество позволяет ему считать таковой) непрерывно расширялась¹, и этот процесс в конечном итоге явился одной из причин кризиса советской модели и привел к попыткам ее «перестройки». При этом, как мне представляется, чрезвычайно важное обстоятельство заключается в том, что этот нараставший процесс «приватизации»² осуществлялся не столько вопреки позиции официальных советских властей и официальной идеологии, сколько в тесном взаимодействии с ними.

Несмотря на то, что временной период 1956—1982 гг. кажется очень длинным и неоднородным во многих отношениях, его возможно рассматривать также с точки зрения преемственности и внутренней логики, как программу модернизации «сверху», просветительски-позитивистскую, половинчато-ограниченную и в этом смысле вполне укладывающуюся в более чем двухвековые традиции российских модернизаций. В послевоенном СССР милитаристки-мобилизационная модель модернизации была заменена на альтернативную. Эта новая модель, несмотря на характерную риторику, была изначально ничуть не более либеральной, чем модернизационная программа Александра I или Александра II, от которых современники, так же

ждали и не дождались полноценного либерализма, как их потомки — от Хрущева. В этом отношении споры о том, почему так трагически завершилась «оттепель» и как далеко она могла бы зайти, кажутся очень поверхностными. Цель российских модернизаций — догнать и перегнать Запад — могла осуществляться с применением разных стратегий, за исключением лишь полноценно либеральных. Как правило же, милитаристско-мобилизационные модели чередовались с квазилиберальными; если милитаристская модель построена на противостоянии и вызове Западу, то квазилиберальная — на мимикрии под него. Хрущевская и брежневская стратегии модернизации различались политикой, риторикой, акцентами и нюансами, но обе следовали квазилиберальной модели, использующей просветительско-позитивистскую фразеологию и соответственно подстраивающей экономическую, социальную, культурную сферы. Подвергается расширяющей корректировке и сфера «частной жизни».

Милитаристские, мобилизационные модели модернизации, напротив, сужали пространство частной жизни, а сталинская вообще практически достигла крайних пределов, свойственных утопии. Утопия в данном случае означает не что-то невоплотимое, а набор определенных характеристик общества, которые вполне могут быть воплощены на некоторый срок³. В числе этих характеристик на-

ходится крайне репрессивное отношение к частной жизни индивида, попытка предельно обобществить и рационализировать его бытие. Вспомним ли мы Замятина, или Оруэлл, или Хаксли: идейное прозрение героя, его путь к свободе начинается, условно говоря, с полового чувства. Именно поэтому все утопии так категорически репрессивны к половой сфере: с нее начинается свобода.

Переход от милитаристской модели модернизации к квазилиберальной не был связан исключительно с личностью Хрущева, однако именно Хрущеву суждено было задать неповторимые оттенки этой модели, сформировать ее контуры, и, кроме того, обозначить новые границы и обновить содержания частной сферы.

В этом смысле развенчание Хрущевым культа личности Сталина было важнейшим шагом, обозначающим, что возможность ошибаться, внутреннее несовершенство и неумение совладать со своими — порой далеко не лучшими — страстями являются имманентными свойствами любой личности, даже наделенной особыми, возвышающими ее над основной людской массой, характеристиками.

Провозглашение коммунизма как близкой и реальной цели снимало также императив жертвенности с частной жизни людей: отныне не их дети, а они сами будут и должны жить счастливо. Классическое русское: «пусть не мы, но дети» подспудно заменялось на: «именно мы, и по праву».

Это предписание счастья вообще очень важно для политики Хрущева. В сталинской модели советский человек не обязан был быть счастливым, но если и был им, то заслужив его успехами в труде и борьбе. Хрущевская модель изменила коннотации и наполнение счастья: теперь оно связывалось прежде всего с семьей, устроенным бытом, хорошим досугом. Это декларируемое личное счастье призвано было стать новым доказательством в пользу коммунистической системы, доказательством, в котором раньше не было потребности, но которое теперь стало более важным, чем прочие успехи и победы, более того: стало целью этих побед.

Достаточно вспомнить художественные фильмы тех лет, начиная со знаково родившейся в 1956 году «Карнавальная ночь», чтобы понять, насколько мощной была эта потребность в счастье как нормальном ощущении бытия. Это культурное «предписание» счастья и любви отчетливо слышится и в устных биографических интервью с теми представителями интеллигентской корпорации, чья молодость пришла на 1960—70-е годы (по сравнению с биографическими историями предшествующего поколения)⁴.

Сам новый концепт счастья мог родиться только в ситуации 1953—57 гг., когда власть и интеллигенция шаг за шагом, робко, отступаясь и одергиваясь, но именно поочередно нащупывали новые образы и формулировки, отступая от утопической категоричности. В этом обоюдном (что важно) движении счастье утратило свое прежнее, непременно героическое, обрамление и предстало теперь качеством повседневного существования. Его больше не нужно было заслуживать в тяжелой борьбе, оно становилось естественным ощущением бытия для советского человека.

Кроме того, на ситуацию влияли такие обстоя-

тельства, как медленное «раскрывание» страны, расширение контактов советских граждан с иностранцами и начало в СССР — пусть даже в крайне ограниченном варианте — сексуальной революции. Спустя некоторое время власти пришлось уже одергивать людей, которые «прочитали» в программе партии те смыслы, которые она совсем не подразумевала. Например, улучшение быта и забота о его качестве, по замыслу партии, должно было освобождать индивида не от коллектива, а напротив, для коллектива (от обременительных и «мелкобуржуазных» семейных хлопот).

Лишившись привязки к долгу, счастье выступало теперь в тесной связке с любовью, под которой, однако, партия подразумевала прежде всего любовь к обществу и идее, а общество, в лице своей интеллигенции, — сугубо интимное чувство к конкретному человеку. Такая интимная любовь выступала синонимом (симулякром) индивидуальности и свободы в обществе, где иные проявления свободы были практически невозможны, и борьба за такую любовь грозила приобрести свойственные антиутопии гипертрофированные масштабы и значение. Как замечает К. А. Богданов, уже в романе В. Ажаева «Далеко от Москвы», увидевшем свет в конце 1940-х гг., а в 1950-х приобретшем большую известность и широко обсуждавшемся, любовь выглядит как то, что совсем «непросто согласуется с нормативами идеологической ответственности»⁵. Известная повесть И. Эренбурга «Оттепель» (1954 г.) также была посвящена именно борьбе за «неправильную» с точки зрения официальной морали любовь, как проявление тех начал в человеке, которыми почти невозможно рационально управлять. «Неправильной» героиней, вызывающей соперничество и отстаивающей свое — вопреки «грехам» — право на счастье предстает Вероника из кинокартины «Летят журавли» (1957 г.). Вызывающе-неправильно любят герои аксеновских «Коллег» (1960 г.) и «Звездного билета» (1961 г.), грековской «Кафедры» (1978 г.) и распутинских «Живи и помни» (1974 г.), кинокартин «Старшая сестра» и «Еще раз про любовь» (экранизации Г. Натансоном пьес А. Володина и Э. Радзинского, 1966 и 1968 гг. соответственно), «А если это любовь?» (1961 г.) Ю. Райзмана и чухраевского фильма «Сорок первый» (1956 г.), хуциевского «Июльского дождя» (1966 г.) и муратовских «Коротких встреч» (1967 г.), михалковских «Пяти вечеров» (1978 г.) или авербаховских «Фантазий Фарятьева» (1979 г.). В семидесятые годы в советской культуре любовь вообще, по замечанию Н. Борисовой, обретает «собственную метафорику, топику и риторику», переставая быть второстепенным — «осложняющим» или «проверяющим» — обстоятельством в рамках больших тем и высоких сюжетов, а сам советский человек — «хозяин вселенной, безусловно владеющий своими чувствами, превращается в частного гражданина со слабостями...»⁶.

Так, в Объединенном Государственном архиве Челябинской области хранится несколько вариантов сценария моноспектакля «Жизнь, отданная Вам», написанного актрисой Майей Дробининой на основе ее встреч с потомками И. Арман и личной работы с документами и литературой. В этом сценарии вполне откровенно и в высшей степени сочувственно гово-

рится о любви между Лениным и Арманд, а сама «товарищ Инесса» без всякой иронии, совершенно серьезно и пафосно именуется «жрицей свободной любви»⁷. Замечательно, что после совершенно неминуемого для тех времен процесса «доработки» и «цензурирования», моноспектакль этот был разрешен к показу и дошел до зрителя, смягчив, но в целом сохранив свою концепцию.

Право на «свободу чувства» от условностей, налагаемых обществом, интеллигенция будет отстаивать на всем протяжении 60-х и 70-х (иногда, правда, ужасаясь тому, как это право могло преломляться в реальном поведении городских обывателей и гневно открещиваясь от своей возможной моральной ответственности за подобные инциденты⁸).

Сдерживая натиск интеллигенции, власть постоянно подчеркивала приоритет чувств к обществу над чувствами к конкретному человеку, однако тот же плавный уход от провозглашенной Хрущевым даты скорого наступления коммунизма производил обратный эффект, поскольку означал снятие утопического напряжения и последних узд утопического аскетизма.

Однако с течением времени связка «свободной любви» со «счастьем» все более усваивалась «мещанской», городской, полумаргинальной культурой; тогда как «творческая интеллигенция» приходила к пониманию «свободной любви» в качестве маркера одиночества и краха коммунистического «проекта гарантированного счастья».

Любопытно, что официальный дискурс точно так же соединял «свободную любовь» с одиночеством и моральным крахом, с внутренней трагедией человека и его неспособностью верить в коммунистический проект, только, разумеется, оценивал эти явления как негативные и подлежащие преодолению.

Советского человека требовалось научить правильным «любви и дружбе». И в конце 1960-х, и на всем протяжении 1970-х гг. в СССР выходит вал книг о любви и дружбе, где активно дебатруется тема их «свободы».

Помимо «свободы чувств», с середины 50-х годов интеллигенция также настаивала на том, чтобы в неприкосновенный круг частной жизни были включены отношения человека с религией, с супругом, с друзьями и с детьми (включая само право их иметь). Инесса Арманд в вышеупомянутом сценарии М. Дробининой — прежде всего женщина, ищущая самореализации в делах и в чувствах, затем мать, и только в третью очередь революционерка.

Еще более полно иллюстрируют названные процессы, хранящиеся в ОГАЧО полудневниковые записи пожилого и заслуженного школьного работника А. А. Смирновой. Искренне усвоившая сталинские установки по отношению к частной жизни, с середины 50-х годов (и далее по нарастающей) Анна Андреевна со своими принципами вдруг перестает находить понимание у окружающих. Прежде всего, начинают бунтовать родители, отвоевывая свое право на воспитание и частное, неподконтрольное государству, общение с ребенком. Так, мать одной десятиклассницы в ответ на замечание о том, что устроила дочери день рождения «с выпивкой», отвечала: «Ничего тут особенного нет. Мы это разрешаем и ваше вмешательство тут излишне». Ученики также теряют дух коллективизма и прояв-

ляют индивидуалистские настроения, предпочитают западную музыку песням советских композиторов, хулиганят на праздничных демонстрациях, желают видеть жизнь праздником, а на праздниках хотят только «развлекаться», «чураются» (нередко с одобрения родителей) труда физического, как тяжелого и непрестижного, и скептически воспринимают труд, основанный на одном энтузиазме и не сопровождаемый вознаграждением. Дети все более перестают жить жизнью школьного коллектива — эта жизнь становится для них серой и скучной; их «настоящая» жизнь протекает там, где они предельно малодоступны для контроля со стороны общества — на улице и на частных квартирах; в 1966 г. на комсомольском собрании Смирнова отмечает, что старшеклассники «не любят школу, торопятся домой»⁹.

Меняются и учителя. Тает учительский энтузиазм к неоплачиваемой внеурочной работе; учителя утрачивают дух коллективизма, на педсоветах разговаривают о своих личных делах, не следят за тем, что читают дети, манкируют классными часами, не желают вести кружки и курировать выпуск когда-то столь радовавших Смирнову сатирических стенгазет¹⁰.

Все эти неприятные явления Анна Андреевна объясняет ослабевшей учебно-воспитательной работой со стороны учительского коллектива, партийной и комсомольской организации. Слабость же эта, по ее мнению, происходит в первую очередь от того, что те, кто должен «просвещать» — «просвещенцы» — «погрязли в своих личных делах»¹¹.

Во-вторых, и взрослые, и дети в рамках своих корпораций почему-то перестали прилюдно критиковать друг друга¹², что раньше активно практиковалось, во всяком случае, еще в 1953 г. разоблачительные ритуалы проходили в школе со всем причитающимся великолепием¹³.

Рассуждая о всеобщем падении «сознательности», Смирнова невольно проговаривается о том, что по старым меркам относилось к сфере «общественного», а по новым негласным правилам перешло скорее в сферу «частного». В выступлении А. А. Смирновой в 1962 г. перед Пленумом Горженсовета о влиянии нравственного микроклимата семьи на воспитание ребенка читаем: «Что может быть преступнее, когда отец при живой жене сожительствует с 2—3-мя женщинами, имея у одной 9-и лет, у второй 5-летнего сына, как это безнаказанно делает гр-н Лабухин В. А. п/полковник в отставке, коммунист да еще секретарь парторганизации... А парторганизация и работники РК терпят это и даже есть такие коммунисты (Ведяхин, Орлов) <которые> берут Лабухина под защиту, не находя в этом ничего предосудительного...»¹⁴. В 1968 г. на основании проверки студенческих общежитий Политехнического института Смирнова с осуждением констатирует, что: «Многие девушки пьют и курят», перечисляет необходимые для студентов просветительские беседы с врачами — терапевтом, невропатологом и «кожником», а для девушек — также и «геникологом» (характерно, что Смирнова, учительница и женщина, пишет это слово с ошибкой), сетует на то, что студсовет не уделяет должного внимания «вопросам гигиены девушек и их поведения в быту (курение, пьянки)»¹⁵. Осмелюсь предположить, что под подчеркнутой «ги-

гиеной» подразумевается свободная половая жизнь молодых женщин. Насущный для обоих полов «кожник» также говорит в пользу этого предположения. Характерно, однако, что у Смирновой просто нет в запасе слов, чтобы обозначить те новые явления, которые она так, подспудно, зафиксировала.

С формальной стороны вполне освоив новую риторику власти, Смирнова уверенно провозглашает, что: «...главная цель нашей партии и правительства — сделать жизнь советского народа счастливой»¹⁶. Проблема в том, что для нее самой, на чью долю выпали «тяжелое детство и нерадостная юность»¹⁷, высшим счастьем стал труд — не только по идеологическим соображениям, но и потому, что он, в отличие от других сфер, не может причинить личную боль¹⁸.

Наконец, еще одно право, которое интеллигенция настойчиво пыталась «втащить» в приватную сферу — это право свободного говорения о частном, обыденном, о его проблемах и болевых точках. Горьковский журналист и писатель-любитель Н. И. Кочин отмечал в записных книжках: «Матери молодые с детьми — это армия. Второго мужа заполучить не удастся и так она живет и страдает. Запретная тема, но надо написать»¹⁹; «Сижу в сквере. Рядом на лавочке две девицы, с высокими прическами, с подведенными ресницами, с кольцами на руках...», одна говорит: «Женихов нет, все пьяницы, а без нарядов нельзя. Засмеют. Нынче хочешь не хочешь, а носи кофточку заграничную...», рассказывает, что уже не раз пробовала жить с мужчиной, но неудачно, тот «поживет поживет и уходит... потому что я и его зарплату хочу в общий котел...», а мужчины все норовят так устроить, что «баба его кормит», а он свои деньги откладывает, да еще и пьет: «Только евреи не пьют (...) Сколько по свету не хожу — не видела пьющего еврея...»; «В ювелирном магазине открыли двери... Женщины повалили туда гуртом», объясняют автору: «Деньги девать некуда, дедушка. Нынче у всех денег как мусору. Может, поэтому мужчины и скурились (...) теперь сами бабы за ними бегают. Дуры мы... А деваться некуда. Говорят на войне двадцать миллионов здоровых мужиков истребили, так куда нас денешь... Вот и вертишься ночью одна на подушке-то»²⁰. Печальное резюме автора таково: «В этом дневнике записано все... о чем никто не пишет: жизнь вне официальных... рамок...»²¹.

Этот дневник автор заканчивает в 1981 году, и к этому времени власть окончательно предпочла закрыть глаза на то, что происходило в сфере частных отношений своих граждан. Внешне контроль еще сохранялся, но приобрел исключительно формаль-

ный и недейственный характер. Окончательное уничтожение его институтов (от партии и комсомола до женсоветов и товарищеских судов) оставалось лишь вопросом времени.

Примечания

1. См.: Зубкова Е. Частная жизнь советского человека // Родина. — 2008. — № 7; Каспэ И. Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе // Новое литературное обозрение. — 2010. — № 101.
2. Shlapentokh, V. Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia. — New York ; Oxford : Oxford University Press, 1989. — P. 14.
3. См.: Черепанова Р. С. Утопия и антиутопия: типология и взаимоотношения // Вестник Челябинского университета. — Сер. 1. История. — 1999. — № 1.
4. См., напр.: Черепанова Р. С. «Зачем мне уюги?» Интеллигентное женское счастье // Неприкосновенный запас. — 2009. — № 3 (65).
5. Богданов К. А. Любить по-советски: figurae sententiarum // СССР: территория любви : сб. ст. — М. : Новое издательство, 2008. — С. 34.
6. Борисова Н. «Люблю — и ничего больше»: советская любовь 1960—1980-х годов // СССР: территория любви : сб. ст. — М. : Новое издательство, 2008. — С. 45, 46.
7. Дробинина М. Г. «Жизнь, отданная Вам» // ОГАЧО. Ф. Р-702. Оп. 1. Д. 29. Л. 34.
8. См., напр.: Кочин Н. И. Свободная любовь // ЦММЛС. Ф. 85. Оп. 1. Д. 273; Кочин Н. И. Снимем крыши квартир (Дневник обыденной жизни). Ф. 85. Оп. 1. Д. 485.
9. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 4. Л. 13; Д. 13. Л. 21—22; Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 11. Л. 52об.; Д. 12. Л. 178об.; Д. 72. Л. 60об.; Оп. 1. Л. 13, 35об.; Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 13. Л. 21—22; Д. 72. Л. 137; Д. 72. Л. 55об.; Д. 13. Л. 22—23; Д. 72. Л. 126—127; Д. 72. Л. 125—126; Д. 13. Л. 22—23.
10. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 13. Л. 22—23; ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 72. Л. 126—127; Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 72. Л. 125—126; Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 13. Л. 22—23.
11. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 13. Л. 23об.
12. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 72. Л. 9об.
13. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 70. Л. 6—7.
14. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 4. Л. 53—54.
15. ОГАЧО. Ф. Р-1739. Оп. 1. Д. 52. Л. 13, 17.
16. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 12. Л. 195.
17. ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
18. Я 40 лет работала и истинное наслаждение всегда получала от труда»; «Люди могут обидеть и словом и делом; Друг может изменить, а труд никогда». ОГАЧО. Ф. Р-1730. Оп. 1. Д. 13. Л. 60, 60об.
19. ЦММЛС. Ф. 85. Оп. 1. Д. 418. Л. 3.
20. ЦММЛС. Ф. 85. Оп. 1. Д. 485. Л. 13.
21. Там же. Л. 2.

Поступила в редакцию 10 февраля 2012 г.

ЧЕРЕПАНОВА Розалия Семеновна, окончила Челябинский государственный университет (1993 г.), кандидат исторических наук (2002), доцент, кафедра истории России, Южно-Уральский государственный университет. Сфера научных интересов: история России XIX в., политическая история, история русской интеллигенции и освободительного движения, история идей. E-mail rozache@mail.ru

CHEREPANOVA Rozalia Semenovna graduated from Chelyabinsk State University (1993), a Candidate of Historical Science (2002), an associate professor of the Department of History of Russia of South Ural State University. Research interests: history of Russia of the 19th Century, political history, history of the Russian intellectuals and liberation movements, history of ideas. E-mail: rozache@mail.ru